

ЛОВЕЦ ЛЮДЕЙ

"...идите за Мною,
и Я сделаю вас
ловцами человеков".
Мф 4:19

Поздним летним вечером на одесской даче Скроцких между родными сестрами Александрой Ивановой и Клавдией Ивановой велась негромкая беседа о каком-то мужчине. Мне, внуку Александры Ивановны, было тогда, кажется, 11 лет, и я впервые услышал, что говорят о каком-то Николае Алексеевиче Полторацком, человеке около 40 лет, который, видимо, уже был в гостях на даче, но я его не застал.

— Ну, как он тебе, Шура? — с пристрастием спрашивала мою бабушку Клавдия Ивановна, или Клод, как мы нередко ее называли. Она очень любила рассказывать, как ее второй муж, поэт Пяст, нарек ее Клотильдой Ивановой — отсюда Клод.

Я не помню, что ответила бабушка, но что-то явно одобрительное. Обе улыбались, и разговор долго шелестел, иногда смешиваясь с шумом темнеющего сада. Я засыпал. Если бы я был постарше, то, конечно, понял бы, что обсуждал жених Наты, дочери Клод, и уже были "смотрины". Мнение бабушки среди родственников было очень авторитетным, и Клавдия была удовлетворена.

А позднее началось долгая череда встреч с Николаем Алексеевичем, дядей Колей, а последние более чем 30 лет — просто Колей. И каждая встреча приносила большую радость, непременно меняя что-то, преображая жизнь вокруг всех нас. Впоследствии в некрологе было сказано, что "имя его было одним из самых значительных в духовной и культурной жизни Одессы на протяжении последних десятилетий".

Когда моя милая кузина Анна Николаевна Полторацкая, Анка, попросила меня написать, что я помню о ее покойном отце, я очень обрадовался, но подумал, что в силу своих особенностей и большой любви к этому человеку никогда не смогу быть объективным. То, что я напишу, значимо, прежде всего, для меня самого. Я могу думать о нем только в связи с развитием собственной личности. Отделиться от липкой помехи ощущения собственной значительности при прикосновении к действительно значительному человеку полностью, к сожалению, почти невозможно. Но именно личности, коллекции, гирлянды личностей и составляя Коля, любя каждого человека в отдельности и в связи с его общей человечностью.

Рассказать о Коле — это рассказать о людях во всем их многообразии и одновременно о человеке как таковом. Новый человек для Коли выявлял новую особенность его самого. Он откликался на людей разными сторонами, вмещающая всех, с кем сталкивался. Он был бесконечно многогранен, и каждая новая грань составляла еще одного человека. Я бы сказал, что он умножался, включая в свою судьбу переживания тех, с кем встречался. Без всякого намека на пафос я могу назвать это универсализмом. Но среди этого моря он выделял вехи, он так и говорил иногда о ком-либо: "Вот это не просто интересный (а неинтересных в его понимании я, во всяком случае, не помню) человек. Это ориентир. В жизни нужны вехи, и тогда ты сможешь как-то ориентироваться". Любопытно, что и под вехами он понимал не события, а только людей. Он был не просто верующим, а мудро верующим, служителем церкви, и, вероятно, именно поэтому он воспринимал человека целостно. "Плохой" или "хороший", праведность, грех — эти и подобные им понятия он никогда не употреблял. Он понимал людей как-то иначе и никогда не пытался учить, морализовать. Чаще даже казалось, что, слушая о чем-то "греховном", он скорее сочувствует человеку, ободряет — не так, мол, страшно. Часто утверждается, что людей надо принимать такими, какие они есть. Я почти не видел ис-

полнения этого, но Коле это удавалось без труда. Он мог привести человека к мысли о Боге, не употребляя никаких церковных понятий, разве что некоторые религиозно-философские. О сложнейших вопросах мироздания он легко говорил с человеком любого уровня культуры на понятном для него языке и ничем существенным не жертвовал.

Я бы сказал, что при всей формальной академичности (книги, работа за письменным столом, лекции и тому подобное) его образ был очень романтичен. Интерес практически к любым проявлениям мира при неукоснительном следовании одной цели очень напоминал некоторые образы Киплинга, может быть, личность Лоуренса Аравийского. Было, так сказать, романтически методологическое сходство.

В 14-15 лет я увлеклся Джеком Лондоном и читал статьи о его творчестве. Где-то было сказано, что он писал о гигантах, борющихся среди страстей этого мира. Моим близким другом была моя тетя, Наталия Филипповна Стоянова, Ната, которая и стала женой Коли. Я как-то с интересом рассказывал ей о гигантах Лондона, на что она мне ответила: "А ты знаешь, я бы отнесла к таким людям дядю Колю". И вдобавок рассказала, что как многим девушкам, ей нравились спортивные молодые люди, но вот полюбить она человека совершенно другого типа, облик которого без всякого труда перекрыл стандартную привлекательность обычных фигур. Это действительно очень интересно. Отнюдь не будучи суперменом, Коля столь же мало подходил на записного интеллигента. Поэтому я и вспоминал Лоуренса, у которого книжный интеллектуализм постоянно перетекал в военно-дипломатический. Окруженный книгами, преподаванием, переводами и т. п., Коля всегда был в действии, всегда был "поступок". Совершенно буквально, в любой момент, он был готов оказаться на вокзале, в аэропорту и т. д., организовать то, что требовало чрезвычайного напряжения и молниеносного движения. При необходимости он почти что с легкостью подвергался рискованным для жизни хирургическим операциям. Но чтобы он ни делал, это всегда было подчинено ясной внутренней цели, которую он старался достичь, пользуясь подходящим удобным способом.

Экспрессы, аэропланы, а в более ранние годы во Франции — велосипеды постоянно расчерчивали его жизнь. Мне казалось, что в нем было

риже. Главной целью пребывания митрополита Николая во Франции было воссоединение с Матерью-Церковью приходов, рассеянных по Европе, и приходов Русской Зарубежной Церкви во Франции. Когда в 1947 году по приглашению Святейшего Патриарха в СССР прибыла делегация Западно-Европейского Экзархата Русской Православной Церкви, Николай Алексеевич был в ее составе, деятельно способствуя развитию послевоенного экуменического движения. Это было особенно важно, потому что тогда Церкви большинства стран участвовали в подготовке I Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Амстердаме, а Московская Патриархия располагала очень значительными материалами по экуменизму. Это был первый приезд Коли в СССР.

В 1948 году он вернулся окончательно. Об обстоятельствах, предшествовавших его возвращению, сам он пишет так: "Я работал тогда в большом школьном издательстве "Либрари Атье", в которое поступил вскоре после окончания католического института (ЭССЕК), и в то же время безвозмездно исполнял обязанности ответственного секретаря Благочиннического Совета Русской Православной Церкви во Франции, подчинявшегося Московскому Патриархату... После окончания войны я получил приглашение от Московского Патриархата возвратиться в Россию и занять должность переводчика Отдела Внешних Церковных Сношений и совмещать эту работу с преподаванием". В дальнейшем это оказалось преподаванием французского, русского и церковнославянского языков, а также истории Русской Православной Церкви в Одесской духовной семинарии.

Таким образом, все выглядело логично и поступательно спокойно, но Сталин был жив, и живо было все отсюда вытекающее.

Когда Коля окончательно уезжал в Россию, его в аэропорту Парижа провожали с рыданиями. Считалось, что это начало конца. Кошмарные последствия выдачи после Ялтинского соглашения русских, оставшихся разными путями в Европе, становились все более известными. Документально это зафиксировано Николаем Толстым в книге "Жертвы Ялты". Хотя Коля был в числе тех "первых ласточек" русской эмиграции, которые возвращались в Россию в 40-х после войны добровольно и даже "по приглашению", а не под конвоем в эшелонах и на кораблях, риск был огромным. Среди так или

рождении", в мгновение ока оказался на каком-то вокзале в СССР. Человек, привыкший к комфорту, обслуживанию и совершенно иному образу жизни в целом, ("никогда не завязавший себе сам шнурков", как сказал о нем Коля), он невозмутимо попросил одного из знакомых по Парижу, который уже жил в Москве "снять небольшую квартиру; слишком много комнат не надо, так как татапа еще в Париже". Эта записка ходила в определенных кругах тогдашней Москвы как "образец аристократического кретинизма", по веселому замечанию Коли. Однако Любимов, который, как считали, просто обязан был пропасть в совдепии, не только не пропал, но опубликовал в нескольких номерах "Нового мира" интереснейшие мемуары "На чужбине" и успешно занимался переводами вместе с Колей.

Будучи мальчиком лет 13-14, я влюбился в падчерицу Любимова Сильву, мою сверстницу, гостившую тогда в Одессе, и преподнес ей цветы. Любимов, узнав об этом, написал ей, что "профессорский внук дарит ей цветов пук". Был один любопытный эпизод, рассказанный Колей. Однажды в Москве они с Любимовым подошли к киоску купить папиросы. Стояла очередь за пивом, и инвалид на костылях, судя по всему, ветеран недавно кончившейся войны, держа кружку пива, медленно приблизился и внимательно осмотрел их иностранную одежду: шляпы, длинные пальто и огромные желтые кожаные портфели. Затем он сказал: "Сволочи — лавреаты (то есть лауреаты), американцы, жиды!", вложив в свои слова все самое ненавистное "простому русскому человеку".

Чувство юмора у Коли было развито превосходно при абсолютно не известном ему чувстве обиды. Бердяев в своей "Философии неравенства" писал, что обидчивость специфична именно плембсу — аристократизму она чужда изначально. Коля буквально озадачивал глупопорную пролетарскую интеллигенцию простотой своей дворянской пластики поведения. Он бесцеремонно нарушал формальные правила советского "хорошего тона". Обладая французским шармом, говорил довольно громко, красиво жестукировал, смеялся всегда от души, очень характерно потирая руки. Будучи верующим, а не ханжой, однажды рассказал, как некий помещик велел отвезти любимую собаку во время церемонии ее похорон. "Отвезать пса! Каково!" — и залиристо хохотал, воздев к небу указательный палец. Коля любил создавать почти детские курьезные ситуации. В троллейбусе, например, он мог Наташе, жене, говорить громовым шепотом, что надо купить билеты, а то может быть стыдно, если придет контролер. Близко стоящие начинали оглядываться, а кондуктор, на которую все было рассчитано, терпела, но, наконец, не выдерживала и требовала показать билеты. Моя втушка не знала, злиться или смеяться.

Насколько я сейчас помню, одна из моих первых встреч с Колей состоялась в нашей городской квартире. Я лежал простуженный в кровати, когда в комнату вошел мой дед, как обычно — в наглухо застегнутом френче, который он любил носить среднего возраста в красивом костюме. Помню, как хорошо ложились брюки на блестящие туфли (у нас не было принято срывать с гостей обувь). Они подошли к моей кровати, улыбающиеся и приветливые. После какого-то короткого разговора со мной Коля спросил, хорошо ли я знаю таблицу умножения, и затем задал конкретный вопрос. Я ответил правильно, но он с лукавым выражением глаз сказал, что я ошибся. Я смутился и тут же согласился. Они оба засмеялись. "Никогда не соглашайся так быстро с тем, что тебе скажут", — посоветовал Коля.

Пожалуй, единственным извест-

ным мне человеком, недолюбливавшим Колю, притом взаимно, что тоже было редким, оказался мой отец. Они с интуитивной точностью не приняли друг друга. Папа, Владимир Николаевич Циммерман, происходил из известной в свое время семьи; прапрадед — профессор энциклопедии законодательства и государственных законов, награжденный высшими орденами империи; в семье были математики, сенаторы, а мой дед — профессор астрономии, работавший в Пулковом, умер во время блокады. После смерти моей мамы в 1946 году от неизлечимого тогда туберкулеза отец не видел меня по многу месяцев. Он создал другую семью, и когда я однажды тяжело болел в течение полугода, тоже не приходил, сказав кому-то, что он спокоен, так как Аркадий Иванович, мой дед по матери, педиатр, у которого я жил, меня вылечит. Папа остался для меня почти загадкой. Я знал, что он по профессии геодезист, что, имея во время оккупации аусвайс, нигде толком не работал, но счастливо избежал неприятностей после прихода советских войск. В дальнейшем он почти всю жизнь проработал геодезистом, увлекался художественной фотографией и много читал. Мы не виделись годами, живя в одном городе, а когда я переехал в Ленинград, то и подавно. Незадолго перед его смертью я по странной случайности узнал, что он занимался живописью маслом, и у меня и сейчас висит вид Одессы, написанный им с какой-то высокой точки.

Когда я начал посещать школу, мама была еще жива и любила надписывать свою фамилию на моих школьных тетрадах. Получалось "Циммерман — Скроцкий". После ухода отца и смерти мамы дедушка категорически решил, что я должен быть усвоен, должен стать его сыном. Выглядело это драматично, тем более что он настоял, чтобы я носил и его отчество. Папа был очень задет, был против, но дедушка сумел сделать по-своему. Меня никто не спрашивал, и надо сказать, что это тогда меня мало интересовало. Я привык, что, живя только с дедушкой и бабушкой, естественно, я Скроцкий.

Когда Коля во всем этом разоблачился, он стал со мной особенно нежен. И вот тогда несколько раз неожиданно появился папа. Они холодно познакомились. Странно, но я впервые видел Колю несколько напряженным, более того, он разговаривал с моим отцом формально! Когда в дальнейшем я увиделся с папой, он как-то язвительно отозвался о Коле, чем крайне меня задел, и я ответил ему подростковой колкостью. Сегодня я думаю об отце как о безусловно незаурядном умном человеке, но как-то обидевшим себя самого.

Я всегда плохо учился в учебных заведениях, но всегда был отличником в том, что придумывал для образования себе сам. (О грустной и бесцветной судьбе многих школьных отличников, как, кстати, и самих учителей, я узнал позднее, работая психиатром.) Коля прекрасно понял мои взгляды и мгновенно завоевал мое доверие. Придумав себе собственную систему образования и пользуясь нашей необъятной библиотекой, я все больше стал посещать занятия формально. Начались неприятности. Поскольку отец меня практически не видел, бабушка по болезни из дому не выходила, а дедушка почти не выходил из своей клиники и лекционных аудиторий, не занимаясь моим воспитанием непосредственно, в школу ходила обычно моя няня, жившая в нашей квартире. Однако с возникшей ситуацией она явно не справлялась. Прислушав обо всем этом, Коля немедленно взял все на себя. Бабушка обрадовалась, и мы с Колей отправились в школу. Он в короткое время заигнотизировал учительскую, а потом два-три раза в неделю аккуратно являлся на переговоры по собственной инициативе, нарочито отнимая много времени у моих учителей. Его стали бояться, а меня оставили в покое. Естественно, Коля немало сделал и для того, чтобы я со своей стороны перестал "дрознить гусей". Когда я уже теперь во время написания этого, поделился своими воспоминаниями с одной близкой знакомой, "ревностно православ-



Н.А. Полторацкий с дочерью и матерью. 1956 г.

что-то от странника, передвигающегося по путям видимым и невидимым от человека к человеку. Самый факт его приезда в СССР в 1948 году имел в основе чрезвычайный риск. То, что об этом известно официально, выглядит обиденно.

В 1945 году, живя в Париже в эмиграции, он организовывал приезд митрополита Крутицкого Николая, прибывшего в Париж по благословию Святейшего Патриарха Алексея I. Николай Алексеевич активно участвовал в этом историческом событии, о чем рассказывал в сборнике "Дни примирения", вышедшем в Па-

иначе возвращавшихся или возвращенных на "родину" погибло немало людей высокой культуры, например, мыслитель Карсавин, живший одно время в пригороде Парижа Кламаре, где жила Бердяев, Цветаева, бывшая соседкой Коли, и многие другие. Погибло немало, но многим повезло. Были даже особые счастливицы, вроде Льва Любимова, друга Коли, журналиста, высланного из Франции самими французами по какому-то политическому недоразумению, каких было тогда очень много. Любимов, обаятельный барин, человек, работавший в Париже в "Воз-

ной", она негодующе воскликнула: "Ну, конечно же, это иезуитский прием, довести до истерики бедных учителей. Не зря он кончил католический институт". Я подумал: как жаль, что Коля не может это слышать. Он был бы в восторге, хохотал бы, потирая руки.

Войдя в нашу семью, Коля особенно часто приезжал к нам на дачу. Я хорошо помню его на маленькой площадке скалистого выступа, "мысике", как это место назвала мама. Там стояла среди нависающих кустов скамейка, и открывался с большой высоты широчайший горизонт одесского залива. Это было любимое место для беседы, чтения и тому подобного для всех живших на даче и гостей. Много времени проводили здесь мы втроем: Ната, Коля и я, ходивший за нами неотвязно (не всегда кстати), потому что не мог не слушать все то, что Коля рассказывал или показывал. Как-то он спросил меня, знаю ли я, как шумят утки, и затем, оттянув пальцами свои щеки, начал их дергать, издавая щелкающие звуки. В беседах он всегда относился ко мне как к равному, совершенно игнорируя тридцатилетнюю разницу в возрасте. Я бы сказал, что он научил меня правильному русскому языку. Хотя в нашей "старорежимной" семье никто не употреблял "большевизмов", но эмигранты, жившие вне даже минимального влияния пролетарского языка, сохранили особенно чистую русскую речь. И дело было не только в словах, построении фраз, но в самом звучании, тембре, дикции, выговаривании слов. Пресловутая левитановщина, например, насквозь пролетарская. На прекрасном языке говорили все те русские, которые возвращались в СССР после советского указа от 14 июня 1946 года, дававшего право гражданства бывшим русским подданным. Поскольку путь очень многих проходил через Одессу, они никогда не миновали Колю, так как практически все были знакомы по Парижу. Многие из них побывали на нашем мысике. Это была настоящая Россия, и я настолько привык к ее жизни, интересам и прогнозам, которые сбывались, как мы теперь знаем, что и прежде нелюбимое, происходившее за пределами дачи и наших квартир, стало для меня совершенно обесмысленным.

Коля жил с матерью и бабушкой, умершей вскоре после их приезда в Россию, в доме, принадлежащем Церкви, в Ильинском подворье на Пушкинской. Его мать, Елена Карловна, неизменно приветливая, глубоко верующая, очень культурная женщина, умела создать обстановку, полностью соответствующую образу жизни сына. Они очень дополняли друг друга. Когда она умерла, мне довелось видеть такую смертельную скорбь у Коли, какую ни до, ни после не пришлось видеть ни у одного человека. И только после ее смерти он поселился с Наташей в одной квартире. А до этого Коля жил с мамой в трех крохотных комнатках, забитых книгами и людьми. Нигде мне не было так уютно, интересно, приветливо. Здесь скрещивались пути государств, личностей, мелькали события, разворачивались грандиозные исторические перспективы, прямые и обратные. Это была своеобразная машина времени, мениппея, авантюрная, двойственная, но абсолютно всегда основанная на высочайшей истине и неукоснительно к ней приводившая, несмотря на бесчисленные витиеватые завитки, отступления и сомнения, неизбежно свойственные человеку. Коля был кем-то вроде режиссера этого необозримого, несмотря на миниатюрность комнаты, театра.

Коля был очень отточен, хотя это становилось понятным не сразу, скрываясь за внешней мягкостью манер, мимики и некоторой небрежностью в одежде. Есть люди, редко употребляющие спиртное, но чрезвычайно тонко разбирающиеся в винах и знающие технологию их приготовления. Подобно этому Коля, не придавая видимого значения собственному костюму, обладал высокой культурой в умении одеваться и мог с удовольствием говорить об этом. У него всегда были красиво повязаны галстуки. Как-то он сказал мне, что сэр Энтони Иден, первый джентльмен Европы, в свое время считал человека, тратящего менее

часа на завязывание галстука, не достойным уважения. Коля часто делал подобные замечания, высказывания, и часто непросто было понять, что он говорит совершенно серьезно, а что иронически, что действительно надо принять во внимание, а что нелепо. В качестве головного убора он чаще всего носил берет, который, в отличие от шляпы, мужчина не должен снимать при встрече с дамой. Однако Коля неподражаемо грациозным жестом снимал берет, слегка склонившись, целовал даме руку, не делая при этом никакого различия в социальном положении, и затем совершенно незаметно надевал берет. Этому не мог помешать никакой ветер. Естественность и точность его движений были изумительны.

Принимая во внимание частый подтекст, к которому он был склонен в беседах, было особенно важно понимать этот подтекст, когда речь шла о действительно серьезных вещах в философии, политике, истории, наконец, в религии. Я бы сказал, что он, говоря о чем-то, высказывал скорее не явную собственную убежденность, а некое возможное, как бы исходное мнение, которое было, однако, очень интересно и часто касалось малоизвестных фактов, событий, особенно людей. Но высказанное им было таково, что подталкивало слушателя к возможности разнообразной интерпретации, к дальнейшему развитию мысли. Его удивительное равнодушие к социальному различию между людьми основывалось на том, что ему было достаточно видеть перед собой Человека. Мне кажется, что принцип его мирозерцания имел в основе объединение, включенность. Он исходил из общечеловеческого, а не из различночеловеческого. Вероятно, отсюда и экуменизм, и стремление перенести между собой весь род людской. Однажды, когда мне было уже около 50-ти лет, я, будучи в Одессе, беседовал с Колей об одном умном и оригинальном, но малосимпатичном мне человеке, которого я знал, правда, только понаслышке. Коля, уже более чем немолодой человек, с чрезвычайной живостью вскочил со стула и сказал: "Немедленно идем к нему, я тебя с ним познакомлю". Он тут же схватил пальто и действительно утащил меня, несмотря на мое нежелание. Скрещивать человеческие судьбы было просто его потребностью.

С самого раннего возраста я знал, что живу в обезглавленной стране, наполненной злом. Вокруг меня это знали все. Когда, например, я спросил очень пожилую женщину Акулину Ивановну, кухарку, много лет прожившую в нашей семье, кто такой Сталин, она тут же ответила: "Сталин — это сатана". Постепенно у меня возникло желание куда-нибудь уехать из такой страны. Я постоянно много думал об этом и, разумеется, не мог не посоветоваться об этом с Колей. Он никогда не возражал и не одобрял. Он внимательно слушал и попутно что-нибудь рассказывал на эту тему, но так, что у меня стали возникать большие сомнения. Я спросил однажды его, смогу ли, оказавшись за границей, обратиться за помощью к кому-либо из его многочисленных друзей, и как я смогу доказать, что я именно от него. Понятно, что везти письмо или что-либо подобное было опасно. Коля чуть улыбнулся и сказал, что для подобных случаев есть достаточно много разработанных способов. Но затем он как бы вскользь заметил, что европейцы, как правило, очень хорошие патриоты, и к человеку, бросившему свою Родину, относятся без особого уважения, скорее с жалостью, и вряд ли будут считать его равным себе. Иное дело — белая эмиграция, понятая как историческая трагедия России, когда Запад, Франция в частности, считал, что принимает рыцарей, потерпевших поражение в неравной героической битве. А одиночка, убегающий от трудностей...

В доме, где жил Коля, был подвал, занимаемый какой-то женщиной и обилием ее кошек. Это место называлось "дно". Там можно было встретить кого угодно и что угодно, например, увидеть, как режутся в карты местный дьякон с местным евреем-электриком, милиционером, забравшим на огонек, и еще каким-нибудь бродягой. Однажды владелица

"дна" с большим почтением, как и все, относившаяся к Коле, пришла к нему с предложением посмотреть на одного из ее гостей. Коля немедленно спустился в подвал и увидел седого старика с прекрасной выправкой и гордо посаженной головой, одетого в элегантно потрепанный пиджак, читающего в пенсне французскую газету. Хозяйка, обратившись к нему, сказала: "Вот, я привела вам этого человека!". Гость, бросив на Колю быстрый пронизывающий взгляд, заговорил на превосходном французском. Мгновенно завязалась непринужденная беседа, и Коля сразу предложил этому человеку подняться этажом выше, то есть продолжить беседу у него. Тот легко поднялся, обматрив более заметно потрепанные, чем пиджак, брюки. Не могу быть точно уверенным, но, кажется, его звали граф Остоё-Баньковский. Он был из поляков, прекрасно знал бесчисленные подробности из жизни в Зимнем Дворце, многих конкретных лиц, а также все тонкости православного богослужения и очень увлекательно обо всем этом рассказывал по-русски или по-французски в зависимости от слушателя. Его собственное прошлое время от времени преподносилось им различно. Я несколько раз видел его у Коли, который, слушая его, все время потирал руки и улыбался, — верный признак симпатии и интереса. Мне этот человек еще запомнился тонким знанием вин и необыкновенным кавалерским шармом. Ему нужно было, чтобы его выслушали, нужно было воскресить былое, и он получил в избытке эту психотерапию. Исчез он внезапно, спустя две-три недели. Ситуация была типичной в смысле вхождения человека в мир Коли, который безошибочно видел, кто перед ним и что нужно сделать в каждом отдельном случае, — от простой беседы до хлопот о трудоустройстве.

Сам Коля, конечно, получал особое удовольствие от беседы на французском. Он явно скупал по Парижу и с большим наслаждением слушал, глядя внутрь себя, французские радиостанции, особенно Монте-Карло. Однажды я доставил ему удовольствие. К нам домой систематически приходил парикмахер. Он стриг дедушку, а заодно и меня. Потом, повзрослев, я сам навещал его с этой целью. Его отец был грек, а мать наполовину итальянка, наполовину турчанка. По-русски его звали Николай Георгиевич Христо. Это был гений парикмахерского дела, делавший причёски аристократам, а потом известным советским вождям. Он давно осел в Одессе и жил, почти ни с кем не общаясь, многие годы. Когда я привел к нему Колю, представив его как бывшего парижанина, о стрижке сразу забыли оба. Я не ожидал, что Христо так свободно говорит на иностранных языках. Когда мы ушли, Коля признался, что просто поражен тем, что человек десятилетиями не общавшийся с иностранцами, с первой секунды перешел на другой язык без малейшего затруднения. Удовольствие было обоюдным, но потом Христо сказал мне, что, когда он спросил одного клиента в прежние времена, как его стричь, тот лаконично ответил: "Молча", — предыдущий парикмахер был болтлив и испортил ему причёску. Но в данном случае Христо зря волновался — Коля был очень доволен.

Не занимаясь постоянно частными уроками французского, он, тем не менее, иногда с удовольствием обучал языку интересных ему людей. Когда началась эпоха "уплотнения" больших квартир, это коснулось и нашей семьи. Я был уже студентом. Дедушка умер. В двух комнатах: его бывшем кабинете и библиотеке теперь поселился доцент Анатолий Сигизмундович Жардецкий, в прошлом психиатр, перекалифицировавшийся в онколога. Он был несколько чудачков. Приходя в гости в нашу комнату, он часто бывал одет в длинный халат, из-под которого виднелись белые кальсоны. Мы долго философствовали, и он иногда засыпал в моем кресле, а мы с женой гасили свет и ложились спать. Ночью раздавался грохот. Это проснувшийся Жардецкий ошупью пытался найти выход из комнаты. Коля не мог не полюбить такого человека. Встречаясь, они беседовали о чем угодно, и Жардецкий, несмот-



Н.А. Полторацкий, 1951 г.

ря на солидный возраст, страстно увлекся французским языком. Коля приходил к нему дважды в неделю, и по всей нашей квартире разносилась французская речь. Преподавая, Коля, привыкший к лекционной работе, в процессе урока говорил особенно громко, но Жардецкий, входя в азарт, умел его перекричать. Со стороны можно было подумать, что они ссорятся на французском языке. Особенно было интересно, когда они разговаривали по телефону. Жардецкий так кричал, что я думаю, Коля на другом конце телефона мог оглохнуть. Жардецкий научился говорить по-французски с поразительной быстротой, хотя с большими ошибками, которые его абсолютно не смущали, и стал своеобразной эпохой для самого Коли, очень его полюбившего как произведение своего искусства. Когда спустя много лет он умер от инфаркта, Коля тяжело переживал его кончину.

Погружение Коли в жизнь русской эмиграции происходило сквозь французскую культуру, которую он очень любил, ощущая ее, что называется, "на кончиках пальцев". Он прямо называл Францию своей второй родиной. Помню, когда мне было 12 лет, он много рассказывал о кардинале Ришелье, и передо мной встал куда более увлекательный образ, чем у Дюма. В сознании Коли все объединялось, никогда не смешиваясь. Мышление отличалось удивительной четкостью. Во всем был порядок, но мысль легко привлекала к обсуждаемой теме любые необходимые сведения, доводы из, казалось бы, несовместимых концепций, событий. Умея любить людей больше и, главное, правильнее, чем многие, он редко употреблял слово "любовь". Однажды он сказал: "Бог для меня, прежде всего, — порядок". В самом деле, разве хаос может нести любовь? Но порядок любви — не внешнее расписание дел или знаний, а способность человека всегда держать в уме многое и многих и в любой момент совершить необходимый поступок, не задумываясь о степени его значительности или опасности. Мне трудно объяснить, почему среди лиц, через жизнь которых долго ли коротко ли, но прошел Коля, — таких, как известная Кузьмина-Караваева (мать Мария), добровольно погибшая в газовой камере вместо другой женщины, Цветаева, в присутствии которой он неизменно чувствовал робость и о которой всегда вспоминал с большой

трогательностью, ее муж, печально известный Сергей Эфрон, с которым Коля, постоянно встречаясь в трамвае из Кламара в Париж, вел длинные беседы о возможности возвращения на Родину, генерал Деникин, Бунин, с появлением которого в гостиной Коля ощутил внезапно наступившую ледяную тишину, и многие другие, особенно значительные в смысле символа показавшие образ одного безымянного человека. Возможно, потому что сам Коля, вспоминая о нем, сказал, что видит его "как сейчас", и сказал это с легкой, редкой для него сентиментальной грустью. В его рукописи я прочел описание "исхода" из Парижа при приближении к городу германской армии. "В панике из него бежали все, кто только мог и как только мог. Люди ехали на своих и чужих автомашинах, на автобусах и грузовиках, на повозках, запряженных лошадьми, а то и ослими, на мотоциклах и велосипедах, шли пешком, везя за собой тачки или детские коляски, нагруженные всяким скарбом, который потом им часто приходилось бросать по дороге, родители везли с собой маленьких или даже грудных детей, и все это с риском быть подвергнутыми бомбардировкам по дороге германской и итальянской авиацией". Это он написал. Но есть ненаписанное. Среди этого кошмара неподвижно, подобно статуе, застыл всадник, красиво и бесстрастно возвышаясь над смятенной и шумной толпой. Это был французский офицер, и Коля особенно подробно описал, как был перекинут через плечо белоснежный шарф, показывая это на себе жестом. Офицер олицетворял нечто высшее, непреходящее. Я тоже, "как сейчас", слышу Колины слова: "Я его навсегда запомнил". А я, в свою очередь, запомнил и тоже, "как сейчас", вижу этого всадника Колиными глазами.

Сам Коля, как известно, оставался в Париже. Он написал: "Париж опустел, но он был все так же прекрасен. Небывалая тишина его улиц, площадей и бульваров стала зловещей. Слышно было, как шелестят листья на кронах деревьев". Это очень знаменательно. Для Коли зловещее вполне могло быть прекрасным. Однажды, вздохнув и улыбувшись, он признался, что умный мерзавец все-таки предпочтительней доброго дурака — в первом случае есть надежда (если в самом деле умный).

(Окончание на 12-й стр.)

ЛОВЕЦ ЛЮДЕЙ

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

Среди его послевоенных парижских знакомых попадались действительно многоликие фигуры, о которых он всегда рассказывал с удовольствием. Я помню его описание двух англичан. Лорд Бальфур, любивший приходить к нему в гости, обросший черной бородой, невысокого роста и мешковато одетый. Ему очень нравилось, как готовила Елена Карловна, и, как он говорил, "немецкий порядок в русском доме". После неожиданного исчезновения милорд-столь же неожиданно возник в Афинах в облике безупречно выбритого элегантно джентльмена, любителя тенниса и верховой езды. Английский посол в Греции координировал свои действия в соответствии с направлением его указательного пальца. Другой англичанин, православный, некто отец Варфоломей, огромного роста и тоже с длинной бородой, но со сломанным носом из-за увлечения боксом, ходивший в длинной рясе, что необычно для Франции. Говорил он всегда величественно и о высоких материях, но между делом очень много расспрашивал о России. Узнав, что Коля собирался уезжать в СССР, и предположительно зная о его связях, этот человек просил помочь ему посетить какой-нибудь русский монастырь. Он сказал, что всегда его мечтой было жить в России. Когда я спросил Колю, что он ответил, Коля хитро на меня посмотрел — мне было 15-16 лет — и сказал с деланной печалью: "Я отказал ему, голубчик". Среди оригиналов, которых я лично встречал у Коли, когда уже был студентом, очень выделялся Жорж Каминка, бескорыстный авантюрист, счастливо уцелевший в острейших ситуациях германской войны, потом дезертировавший из Иностранного Легиона, прекрасный французский поэт. Свой приезд в Россию он рассматривал как очередное авантурное турне, но заболел тяжелым токсическим психозом и погубил уремии. Когда Коля навещал его в психиатрическом стационаре, Жорж говорил, что чувствует в себе беса и издает запах серы. Он очень возмущался, что врачи ему не верят, и тогда был особенно возбужден. Коля приносивался и подтверждал его мнение. Жорж тут же успокаивался. С Жоржем связаны воспоминания еще об одном человеке. Национальность его я так и не узнал и помню только имя, Арнольд. Низенький, с громадными ушами, бывший шпигон, работавший на русских, разоблаченный Абервером, был так неумело выброшен немцами из поезда, что остался живым, хотя и с поврежденным позвоночником. По-русски он говорил громко и кошмарно. Когда они с Жоржем ехали как-то в одесском трамвае, он заорал: "Давай говорит русский, глаз не привлекай!". Жорж оглянулся и сказал, что лучше по-немецки или по-французски — меньше заметят. Коля, хорошо его знавший, рассказывал, что Арнольд женат на русской чекистке, награжденной дограмим именным оружием.

В послевоенной Франции так же, как и в других странах антигитлеровской коалиции, были места, где короткое время до отправки в СССР содержались русские "жертвы Ялты", которых Сталин требовал "вернуть", и которые под давлением Советов вылавливались местной же полицией. В этом омерзении особенно преуспели англичане, но французы, возможно, из-за галльской импульсивности, хуже выполняли подобные требования. Во французском правительстве неожиданно возник вопрос о существовании на территории свободной Франции лагеря каких-то русских узников, охраняемых пресловутыми чекистами. Был взрыв общественного негодования. Коля подробно и с удовольствием описывал, как, полностью пренебрегая соглашением с Советами, к лагерю было послано воинское подразделение. Колючая проволока была сорвана, а с начальника лагеря французский лейтенант

демонстративно сорвал погоны. Узники успешно разбежались, но продолжали скрываться, так как не знали, чем еще все кончится. Коля прятал многих, укрывая у друзей до того времени, когда все безобразно окончательно прекратилось.

Мне казалось, что Коля как-то иначе, чем мы все, ощущал время. Мгновения для него были столь же значительными — скажем, короткая беседа с генералом Деникиным, как и длительное знакомство и даже дружба, например, с генералом Игнатъевым, или А.Л. Казем-Бек.

Однажды в Петербурге я беседовал с одним солидным военным историком, который возмущался тем, что генерал Игнатъев, будучи военным атташе во Франции в период Первой мировой войны, то ли прикарманил, то ли, что еще хуже, передал Советам два миллиона франков золотом. Когда я, приехав в Одессу, высказал это мнение Коле, он почти закричал: "Да ты с ума сошел!". Долго и близко зная Игнатъева, когда он жил уже в России, а его мать, сестру и брата — еще в Париже, Коля категорически заявил, что передача денег большевикам определялась тем же, чем и призыв Деникина, которого Коля слушал, присутствуя на историческом офицерском собрании в Зале Ваграм. Генерал говорил тогда о необходимости поддержать Красную Армию после нападения немцев на СССР — "политические режимы проходят, Россия остается". Коля считал Игнатъева болезненно честным, высоко нравственным патриотом. Вспоминая о генерале Игнатъеве, он рассказывал, в частности, о его привычках, некоторых — курьезных. Так, он неизменно устраивал серьезные скандалы своим опаздывающим гостям.

Хорошо зная и любя Бердяева, как известно, очень независимого мыслителя и человека, философа Свободы, нередко вступавшего в большие противоречия со многими явлениями в Церкви, критиковавшего епископа Феофана, монархию, тем более — большевиков (Бердяев пророчески заметил, что с коммунизмом не надо бороться — его надо преодолеть), Коля описывал его истинно христианское смирение в повседневной церковной жизни. Здесь он как бы переставал философствовать и становился примерным прихожанином в самом глубоком понимании. Бердяев любил кататься на велосипеде, курить дорогие сигары, а в состоянии "праведного гнева" отлучил на улице тростью нахала, пристававшего к какой-то даме. Но во всех дружеских отношениях он всегда сохранял значительную дистанцию. Если к другому известному мыслителю Льву Шестову Коля всегда мог зайти "на чай" без особого предупреждения и поговорить о чем угодно, то по отношению к Бердяеву так поступить было совершенно невозможно. Сравнил он их и внешне, считая Бердяева ярким представителем великорусского величия, а Шестова — иудейско-библейского.

Не занимаясь политикой специально, Коля уже с 16 лет настолько погрузился в жизнь русской эмиграции, что постепенно перестал общаться с большинством ее политических деятелей. Среди людей, которых он относил к "вехам", был Александр Львович Казем-Бек, который сыграл значительную роль и в моей жизни. Поэтому мне хочется сказать об этом человеке подробнее. В своих воспоминаниях о Казем-Беке Коля, прежде всего, упоминал основные политические движения в русской эмиграции, считая наиболее достойной и уважаемой личностью великого князя Николая Николаевича, стоявшего во главе "право-умеренных". Но, описывая других, в том числе крайне правых монархистов-легитимистов во главе с великим князем Кириллом, к которым, собственно, примыкала и партия, созданная Казем-Бек, — "Союз младороссов", — он обрисовывал сильные, наиболее интеллектуальные и

нравственные стороны, объединявшие их, несмотря на частое неприятие друг друга. Казем-Бек, перс по происхождению, принадлежал к русскому дворянству, был блестяще воспитан и образован и к тому же писал прекрасные акварели. Идеал создания партии возник у Казем-Бека, по мнению Коли, когда "Муссолини в ореоле славы древнего Рима появился как носитель идеалов национального возрождения и примирения, провозгласивший примат государства над политическими партиями путем преодоления классовых борьбы и возвращения к Средневековью для возрождения корпоративной солидарности. И вот тогда-то молодой Казем-Бек, опытный немного этими идеями раннего фашизма, в то время еще не дошедшего до расизма и антисемитизма, основал свой "Союз младороссов" с очень русским лицом, вдохновляемый глубиной русской философской мысли и национальными традициями. Эта концепция



Н.А. Полторацкий с автором воспоминаний Ю. Скроцким

истории принадлежала Льву Тихомирову". Попечителем "Союза" стал в. к. Кирилл. "Союз" привлек в свои ряды намного больше людей, чем все остальные движения. В него вступали люди из всех уголков русской диаспоры во всем мире, из всех слоев общества. Коля считал, что дар Казем-Бека состоял в умении заставить полюбить себя, на чем основывался дух добровольной дисциплины. Благородство, полное отсутствие злопамятности и удивительная простота в общении давали основание Коле считать Казем-Бека аристократом не просто по происхождению, но и по духу. Когда возникла необходимость проводить открытые собрания младороссов, это происходило весьма любопытно. Коля описывал безупречный порядок, за которым следили младороссы в рубашках синего цвета, означавшего примирение и сотрудничество национальных и социальных элементов. Появление Казем-Бека приветствовали овациями и вытянутой рукой.

Кроме Казем-Бека Коля был дружен и с другими яркими представителями "Союза". Один из них, инженер Александр Угримов, стал в дальнейшем участником Сопротивления, возглавляя группу, в которую входил и Коля в качестве связного. Быть связным во всем, от экуменизма до оказания помощи в военной ситуации, являлось его сущностью. Он связывал не явления и события, а людей в них. Человек для него всегда был целью, а не способом, инструментом — даже продавец за прилавком. Что может быть более христианским? Угримов, кавалер фран-

цузских наград за борьбу против нацизма, попав в СССР, как и следовало ожидать, был репрессирован. Другой близкий друг Коли, Кирилл Шевич, заведующий финансами "Союза младороссов", в дальнейшем принял монашество и умер, будучи архимандритом, в 1987 году. В течение 40 лет он был настоятелем православного прихода в Ванве во Франции. Еще одним из наиболее ярких представителей младороссов, по мнению Коли, был глава парижского центра "Союза", князь Вл. Красинский, сын в. к. Андрея и балерины Кшесинской.

"Союз младороссов" был светской организацией, но, как считал Коля, прежде всего, руководствовался идеями русских религиозных мыслителей и не отошел от Православной Церкви. Тем не менее, считая для себя невозможным вступать в какую бы то ни было политическую партию, всегда отклонял настойчивые предложения своих друзей вступить в "Союз". Когда германские

он мог разъяренно броситься в атаку. Сильва говорила, что боится, как бы его не убили хулиганы.

Встретившись в Москве у Любимова с приехавшим туда Казем-Бек, Коля увидел несколько иного человека, чем в Париже. Казем-Бек, и прежде верующий, особо почитавший Серафима Саровского как святого, стоящего над всеми национальными перегородками, был, по мнению Коли, православным в самом глубоком смысле. Однако если раньше он был профессиональным политиком, то теперь он видел свое служение России в служении Церкви. Рассказывая об этой встрече, Коля подчеркивал, что считал особенно счастливой судьбу, как свою, так и своего друга, ибо удалось не только избежать репрессий, но и встретиться как единомышленники в лоне Православной Церкви, работая в одном и том же направлении — направлении экуменизма. Коля откровенно признавал, что это намного больше сблизило его с Казем-Бек, чем жизнь в Париже.

Всегда считая, что, как он говорил, "Господь наш Иисус Христос заповедал нам в Своем Евангелии сохранять единство Церкви", Коля был твердо уверен (в этом нечастом случае именно твердо), что всякий сознательный и добросовестный христианин обязан всеми силами содействовать объединению Церквей. Эту его точку зрения прекрасно знали и высоко ценили, относясь к нему с любовью, Святейший Патриарх Алексей I, Святейший Патриарх Пимен, митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим и многие другие близко его знавшие иерархи.

Отдавая должное Казем-Беку, Коля считал, что принципиальные перемены в сближении Римской и Православной Церквей, которые начались в свое время благодаря деятельности митрополита Никодима на посту председателя Отдела Внешних Церковных Сношений, осуществлялись главным образом в результате усилий Казем-Бека, убедившего митрополита в том, "насколько важна роль Ватикана не только с точки зрения чисто религиозной жизни, но и с точки зрения политической и социальной... Эта роль Казем-Бека в сближении наших двух Церквей была высоко оценена Папой Павлом VI, который лично его принял" (Н.А. Полторацкий "Почему я взялся за перо").

Совершенно понятно, что любые действия Церкви, особенно связанные с внешним миром, контролировались советскими секретными службами. Коля, однако, ясно видел, что успех такого контроля только временный, а действия, направленные на утверждение Вселенской Церкви, служат незблемой Истине, и потому считал, что неизбежные уступки Советам в процессе этих действий более чем оправданы.

Сейчас, когда я пишу это, то вижу образы людей, вошедших через Колю и вместе с ним в сознание друг друга, в том числе и мое собственное. Он — не "человек с тысячей лиц", а тысяча лиц как одно несут на себе отпечаток его участия, интереса и любви, ибо он никогда не был наблюдателем, он был участником. Без малейшего намека на пафос, столь ему чуждый, я думаю, что любая нация может гордиться таким сыном.

Он умер 31 августа 1991 года и похоронен в Одессе в Свято-Успенском монастыре, расположенном на оконечности мыса над морем. Когда-то я услышал легенду о возникновении монастыря и, связав это с жизнью и кончиной Коли, написал стихи, посвященные светлой памяти Николая Алексеевича Полторацкого:

*"Был день когда-то штормовой.
Валило шхуну мокрым вихром.
Осклабясь, мыс за пеной проступал.
Он завлекал, он был неистов...
Обет исполнен, — живы мореходы.
Маяк и рядом монастырь
Над морем поднялись.
И утвердились.
Их знак един — единая обитель.
Обрел ты в ней
свой благодный приют,
Ловец людей, их спутник
и учитель.*

Юрий СКОЦКИЙ.
Январь, 2004 год.